**Поэт Юрий Кублановский: "Цветные революции мне омерзительны"**

**Литератору исполняется 75 лет**

ПОДЕЛИТЬСЯ

Ныне живущий классик русской поэзии Юрий Кублановский родился 30 апреля 1947 года в Рыбинске — втором по величине городе Ярославской области. В середине 60-х, будучи студентом истфака МГУ, он вместе с Леонидом Губановым и Владимиром Алейниковым вошел в организованное ими неформальное объединение «СМОГ» (Смелость. Мысль. Образ. Глубина), противопоставленное официальной литературе. Публиковался в неподцензурных изданиях — «Континент», «Метрополь» (изданную в Америке книгу «Избранное» составлял Бродский), работал в музее на Соловках. Заступался за Солженицына — и сам был вынужден покинуть СССР в 1982 году, после обыска и угрозы ареста. Но, оказавшись в эмиграции, Кублановский думал о возвращении на родину и сделал это, как только вера в перемены стала достаточно прочной — в 1990 году, за год до развала Союза. Уже в новой России жил в Переделкине, заведовал в журнале «Новый мир» отделом публицистики, а затем — поэзии. И все эти годы создавал образцовые произведения как поэт, публицист и критик. Пользуясь знаковой датой, корреспондент «МК» побеседовал с юбиляром.

 Литератору исполняется 75 лет



ФОТО: ВЛАДИЛЕН РАЗГУЛИН

— Юрий Михайлович, расскажите о начале вашего творческого пути.

— Я принадлежу к поэтам первого — если говорить о дате рождения — послевоенного поколения. До нас гремели поэты-шестидесятники, можно сказать, даже изменившие общую картину советской литературы за счет гораздо большей, чем была у соцреалистов, свободы самовыражения. Но идеологически они все-таки оставались в советском идейном поле, несмотря на разгром, устроенный им Хрущевым в 1963 году. Каждый из них потом искупал свою «вину» идеологическими стихами. Моя же политическая плеяда стала плеядой самиздатчиков. Наши стихи выглядели так: бледная машинопись на папиросной бумаге. Впрочем, самиздатом были тогда и Мандельштам, и Гумилев, и Ходасевич. То, что стоит теперь на полке каждого культурного человека, — все было самиздатом.

Конечно, наши тиражи были в сотни раз меньше — зато мы были совершенно свободны от дани, которую платили режиму шестидесятники. Но где-то в середине 70-х я понял, что отказ от типографского исполнения литературного слова начинает меня дезориентировать. Я не понимал, что уже сделано, к чему стремиться. Тогда я собрал, как мне казалось, лучшее из написанного и, пользуясь диссидентским каналом, переправил Бродскому в США. Это был толстый «гросбух» в коричневом коленкоре. Вскоре Бродский сообщил по одному из западных голосов, что готовит мою книгу. В это время Василий Аксенов гостил со своей мамой в Штатах. Бродский рассказал ему обо мне. Когда Аксенов вернулся, у него и еще нескольких молодых прозаиков возникла идея неподцензурного альманаха. Они назвали его «МетрОполь». Это была встреча шестидесятников с нами — независимыми поэтами самиздата. Разумеется, встреча неожиданная, но, как оказалось, плодотворная.

Тогда я познакомился с советскими литераторами старшего поколения: Искандером, Битовым, Семеном Липкиным и Инной Лиснянской. А еще с Высоцким, которого вся страна знала как барда, а он оказался сильным и необычным поэтом.

— В отрочестве вы занимались изобразительным искусством. Но возможно ли соединить в единое целое поэзию и художество?

— Не знаю, мне, во всяком случае, это не удалось. Лет с 12 я рисовал, писал акварельные этюды, но как только накатила поэзия, сразу рисовать разучился. Хотя визуальные зрительные впечатления навсегда остались одной из главных черт в моей поэтике. Природы как таковой у меня не меньше, пожалуй, чем у Бунина или Фета.

— По окончании искусствоведческого отделения МГУ вы уехали работать экскурсоводом на Соловки. Что вас на это подвигло?

— Однажды я зашел в гости к своим друзьям-математикам и у них увидел фотопортрет какого-то необычного человека — словно это была другая человеческая порода, чем советские люди вокруг меня. Хозяева объяснили мне, что это мыслитель и священник Павел Флоренский и что он был расстрелян на Соловках. Так я впервые услышал это легендарное слово — ведь история ГУЛАГа была для нас за семью замками. И вот, окончив университет, имея достаточно свободную профессию экскурсовода, я решился поехать в Соловецкий музей. Тогда Соловки были еще с решетками на окнах братских келий, с глазками в дверях. В общем, после суровой полярной зимы я вернулся в Москву уже другим человеком, человеком, обогащенным пониманием, что же такое была советская власть начиная с первых лет своего существования, отнюдь не только с 1937 года. Соловки дали мне и моей поэзии новую глубину. Я бы даже так сказал: настоящесть.

— 1982 год стал для вас роковым. Вам пришлось уехать. Насколько реально было тогда загреметь в лагерь?

— Мне пришлось уехать за границу после многочисленных публикаций на Западе. На Лубянке мне предложили отъезд, а я не стал искушать судьбу.

Как раскрепощалась здесь литературная, в частности, жизнь, я наблюдал на расстоянии — из Европы. А как только толстые журналы опубликовали мои стихи — сразу вернулся, поскольку я потерял тем самым статус политэмигранта. А становиться эмигрантом, так сказать, экономическим я не хотел — не та профессия. И лет 10 вообще не ездил на Запад. Я так хорошо уже его знал, что мне намного важнее было то, что происходит на родине. То есть в те годы многие литераторы устремились туда, а я — обратно. В январе 1990-го я уже был в Москве, сразу поехал в родной Рыбинск. Среди друзей, старших по возрасту, жил там знаменитый во всей нашей области основатель джазового ансамбля Аркадий Шацкий. Все было необычно: он поставил мне ораторию на стихи Анны Ахматовой, пела его дочка. До этого ахматовский «Реквием» я знал только по самиздату. В общем, помня советскую власть, я теперь не уставал удивляться. Спустя какое-то время Сергей Залыгин пригласил меня заведовать отделом публицистики в его журнале «Новый мир». Так началась другая жизнь — тяжелейшая криминальная революция, потом медленное — длящееся по сегодня — восстановление. Только уже в новом веке я побывал снова в Европе, но она была уже совсем не та, что когда-то. Волны эмигрантов загрязнили и изменили ее…

— Вы вернулись в 90-м году. Можно ли считать, что Солженицын, возвращаясь на 3 года позднее, имел в виду и вашу судьбу?

— Солженицын всегда верил, что вернется. Старые эмигранты крутили у виска пальцем, а он оказался прав! Еще в Вену прислал мне письмо, где предрек, что через 8 лет я вернусь в Россию. Угадал год в год! Александр Солженицын всегда твердо шел своею дорогой, дорогой русского классика, оказавшегося волею судеб в страшных условиях XX века.

— Скажите, как, по-вашему, можно ли было, не разрушая основ советского государства, бережно его трансформировать в лучшую сторону?

— Для меня это вопрос, решать который я никак не берусь. Скажу только, что я убежденный противник революционных методов изменения социальной жизни. Нынешние «цветные революции», да и те, которые были прежде, прямо скажу, мне омерзительны. Я за медленный благородный эволюционный путь развития. И в эмиграции я работал прежде всего не на политическое, а на культурное освобождение родины от чуждой ей материалистической идеологии. Любопытно, что на «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ — иностранным агентом) я вел передачу «Вера и Слово», и однажды шеф сделал мне строгое замечание, что, мол, мои передачи просветительские, а надо быть жестче и политичней. Смешно, что через полгода он бежал в СССР, так как оказался внедренным на радиостанцию советским шпионом.

— Сейчас в России модно вспоминать СССР с ностальгией. Какой опыт мы можем позаимствовать у канувшего в Лету государства?

— За каждой революцией — как показывает история — всегда следует период реставрации. Сейчас у нас как раз, видимо, он. Но, конечно, не хочется, чтобы мы наступали на прежние советские грабли. Либеральный консерватизм — вот та идеология, которой я придерживаюсь: свобода, твердо ограниченная культурной и национальной традицией. Таким я вижу завтрашний день России. И нынешней западной «трансгендерной» цивилизации нас не съесть.